Я знала, что наука умеет много гитик[1]. Что некоторые из них больно ранят. Что место, которое занимает наука на земле, по большей части представлено бездорожьем. Остальное вымощено редким булыжником. Лишь кое-где попадаются заасфальтированные участки. Особо не разъедешься. Только на внедорожниках: отсюда до туда. И деньги в науке на дороге не валяются из-за отсутствия дорог. Однако зачастую здесь можно запросто срубить бабки — to ge tcash for trash, пренебрегая научными данными в пользу предрассудков, вранья и спекуляций, что позволяет многим пользоваться наукой как банкоматом. А плагиат, особенно почерпнутый из западных научных источников, в умелых руках нередко становится бриллиантом в короне отечественной науки.

Плиний Младший говорил: «В науке — и радость, и утешение». В ней есть нечто таинственное, как в поэзии, недоступное порой самим авторам, ибо никто не знает до конца, что удалось открыть.

В науке полно примочек и имитаций. Много беспечного, как в детстве. В ней можно притворяться, как притворяется верховный правитель — наш главный притворщик, а следом притворяется свободной и счастливой страна. Можно годами толкать порожняк с настойчивостью портовой проститутки и получать государственные премии. Но главное, конечно, как карта ляжет. Потому что может и не лечь. У меня, например, легла только «рубашками» вверх...

И хотя занятия наукой — всего лишь игры разума, открытия, что случаются порой, способны потрясти цивилизацию посильнее планетарных катаклизмов. А удовольствие, которое доставляют эти игры, не просто окрыляет. Оно захватывает дух и сносит «крышу» допаминовой бурей, превращая науку в опиум для ученых с помощью тех же схем, что используют священники, проделывая свои штучки с религией. Поэтому решение научных проблем, даже если решение оказалось неверным, колбасит, что меркнет секс.

«Такой вот крутяк», — размышляла я, сидя в последнем ряду гостиничного конференц-зала и наблюдала за Тихоном, что грузил публику с трибуны докладом вместо Дарвин.

Казалось, он скитается по камням, как в «Подростке» Достоевского, забыв про внедорожник. А когда вспомнил, двинул на нем через бесконечные ряды простыней, что сохли на заднем дворе нашего детского дома... А может, просто пробирался к выходу в переполненном автобусе. И неумело, даже вежливо, потому как ехал общественным транспортом впервые, раздвигал пассажиров тучным телом в костюме размером XXXXL, пошитом на заказ дорогим модельером в Лондоне, чтобы выглядел будто ширпотреб, заделанный урюпинской фабрикой «Родные просторы». А может, это дождевой лес по берегам Амазонки, по которому он пробирался вместе с Дарвин прошлым летом в составе международной экспедиции в поисках племени пигмеев, утверждавших, что температура — это скорость. Вождь племени, запавший на Дарвин, сказал ей тогда: «Температура — это просто цифра, мадам. Не хотите остаться со мной? Узнаете много интересного про воду, которая не кипит и не замерзает».

А Тихон на трибуне нервно ищет проход в частоколе стволов дождевого леса. Но за счет габаритов и барственной осанки смотрится из зала довольно сносно. Хоть продолжает говорить неуверенно и как-то жалко на доморощенном английском, недоверчиво оглядываясь на чередующиеся слайды за спиной. Ситуация набухает.

Только зря он так нервничает. Его никто не слушает. Публика в зале привычно перешептывается, перемещается с места на место, дожевывая бутерброды после недавнего кофе-брейка. И он благодарен им за это. А когда наконец добирается в своем путешествии до реки или бассейна, входит в воду по пояс и начинает мучительно переминаться там, будто ищет место, чтобы помочиться с комфортом. И так увлекается этим занятием, что не хочет переходить к главному. И бормочет что-то невнятное и обыденное, пудря мозги дремлющей публике температурой, которая с точки зрения атомной физики есть скорость движения атомов внутри вещества, а не застывший в стекляшке столбик ртути или дрожащая стрелка на приборе. Тут пигмеи были правы. Чем быстрее движутся атомы, тем выше температура. Только новейшая физика предлагает рассматривать сущность температур не как линейный показатель, а как петлю, в которой положительные и отрицательные температуры — части единого процесса.

— При достижении абсолютного нуля атомы водорода останавливают движение, но температура не заканчивается на этом. Она переходит к отрицательным значениям, в которых объекты ведут себя по меньшей мере странно. — Тихон гонит эту хрень, лишь бы не переходить к главному: к козырному тузу, что спрятан в рукаве. И говорит смущенно: — Чем холоднее

[1] Все совпадения с реальными событиями и именами случайны.

объект, тем больше энергии он излучает. — И добавляет, насаждая публике чуждые вкусы: — Еще одной особенностью отрицательных температур является их способность снижать энтропию внутри и вокруг себя...

Я слушаю из задних рядов пустопорожнюю Тихонову болтовню с изумлением и тревогой. Что заставляет его, известного ученого, парадоксального и талантливого, равнодушного к тому, что создано не им, жесткого, даже жестокого, в управлении городом и институтом, вести себя застенчиво и невнятно на трибуне, словно санитар, читающий на ученом совете чужой реферат?

— Обратное распределение Больцмана наиболее точно... — Тихон виснет на полуслове. Лезет в рукав за тузом. Достает. Медлит почему-то, но наконец рожает: — Нам удалось так изменить структуру воды, что она перестала замерзать...

Ученая публика не врубается, хоть шум в зале поутих. Он начинает нервничать, отрывает глаза от листов с текстами доклада и видит Дарвин. В новомодных одеждах, похожих на тряпки с чужого плеча — high-low stile[1], которые эпатируют каноны высокой моды, позволяя носить вечерние платья с кроссовками или поверх брюк, она спешит ему на подмогу. И идет по проходу походкой Ассоль, не дождавшейся алых парусов. Невероятное сочетание новизны и постоянства. Кто-то говорил, что выражение на лице важней одежды, успокаиваю я себя и тут же с завистью вспоминаю ее гардероб, в котором столько тряпок, что не доносить ей до конца жизни, нипочем. Дарвин любит повторять: «Можно прожить очень долго без необходимых вещей, но без лишних — никак». А перед отъездом подарила мне платье: английский костюм, очень дорогой и строгий, потрясающего серого цвета. В мелкую клетку. Я ношу его здесь запоем уже третий день.

Дарвин в скудных одеждах подходит к трибуне, встает рядом с Тихоном, не обращая внимания на протесты модератора-итальяшки в президиуме.

— Меня зовут Дора Дарвин, — говорит она и улыбается притихшему модератору. — Город урюпинск. Я заведую лабораторией биофизики клетки в институте нормальной и патологической физиологии, которым руководит доктор Перевозчиков. — Она кладет руку Тихону на плечо. — Уверяю вас, он не шутит и не впаривает пустое про живую воду. Хотя в нашей стране верят в любую фигню. Особенно в Кремле, постояльцы которого столетиями мечтали о вечной жизни не меньше, чем о полной победе над своим народонаселением.

Меня пугает инакомыслие Дарвин, ее постоянная фронда, которой она бравирует по любому поводу и без. Сама я не страдаю нонконформизмом и равнодушна к власти. И политика меня интересует не сильнее прошедших менструаций. Хоть понимаю не хуже Дарвин все бессердечие, жестокость и лживость верховного правителя и его окружения, более всего озабоченных сохранением собственного благополучия... и благоденствия, если это слово способно передать состояние, в котором они перманентно пребывают, презрев и бросив на произвол народонаселение. А те мелкие подачки с барского стола, что достаются народонаселению, утопающему в конформизме, — лишь способ предотвратить недовольство и сохранить стабильность. Когда я слышу эту бодягу про стабильность, у меня начинается падучая.

Нынешняя власть дала мне вполне сносную, комфортную жизнь, если не считать жизнью время, проведенное в детском доме. Позволила заниматься любимым делом. Большего от нее я требовать не могу. И не требую. И лезть под пули за участие в несанкционированных митингах оппозиции или публично высказывать собственное инакомыслие, рискуя оказаться за решеткой, не собираюсь. Правда, порой, вспоминая детский дом, мне приходит на ум мальчик-заика из старшей группы, в отличие от нас смотревший новости в ящике. Однажды он сказал: «Власть, зарабатывающая миллиарды на торговле ископаемыми, могла бы обеспечить нас более сносным существованием». Из всего сказанного им тогда я на всю жизнь запомнила слово «сносный».

— Здесь... весь цвет мировой криобиологии... нобелевские лауреаты... успехи физики низких температур... молекулярная биология... поведение атомов... — Дарвин продолжает разруливать Тихоновы косяки в конференц-зале отеля Hilton Grand Vocation Suites в Майами.

Она так напориста, убедительна и хороша собой... просто зашибись. Рядом с ней я чувствую себя потрепанной девахой, которая только что выбралась из грузовика.

— Нигде открытия в важнейших вопросах познания не преследуются с такой яростью, как в академической среде. Нигде, кроме научных сообществ, реальные авторы открытий не застрахованы от обвинений в занятиях лженаукой, в подтасовке фактов, в продажности. Раньше их сжигали на кострах. Теперь лишают работы, прячут в психиатрические больницы... Разумеется, есть риск стать посмешищем, остаться в дураках, потратив жизнь на отстаивание безумной идеи. Но это уже как карта ляжет. А можно всю жизнь заниматься чистой наукой и считать ракушки или мух-дрозофил. Комфортно и безопасно. — Дарвин не смогла отдаться толпе и теперь в отместку прямо с трибуны засаживает перья в ученые зады присутствующих.

[1] Сочетание дорогих и дешевых вещей в одежде.

Часть публики раздраженно вскакивает с мест. Движется к Дарвин, забывая о перьях. Шум усиливается. В последних рядах, где я сижу, уже не разобрать слов. Но я знаю текст назубок, потому как перепечатывала доклад на английском много раз. И сама была участником тех событий, что принесли нам «другую» воду.

А Дарвин продолжает на потрясающем американском английском, будто выросла в Вашингтоне. Ей вообще легко даются языки, как, впрочем, и многое другое. Будто сидит внутри жесткий диск могучего компьютера, позволяющий за пару месяцев необременительных занятий заговорить на чужом языке.

А мне английский не дается ни с репетиторами, даже если ложусь с ними в постель, ни без. Может быть, из-за слишком большого клитора, удивившего когда-то Дарвин... Через месяц или два, как я поступила на службу в институт простой лаборанткой, хотя окончила биофак университета в северной столице, Дарвин увидела меня в душевой теннисных кортов. Подошла, оглядела, будто бигля перед экспериментом, и вежливо сказала:

— Никифорова! — Она всегда звала меня по фамилии. — У тебя слишком маленькая задница. — Буду звать тебя Никифорофф. — Эта сука реваншировалась за проигрыш в двух сетах.

Мне стало стыдно. Я впервые удрученно глядела на свой зад, потом на Дарвинов, сравнивая размеры. Слово «гермафродит» тогда не возникло во мне, но позже оно появилось и временами звучало пугающим набатом, хоть поводов не было совсем. Только появилась дурная привычка украдкой разглядывать гениталии и попки других женщин.

После разговора в душевой у меня возник болезненный комплекс большой попы, на который не знала как реагировать. Знаю лишь, что теперь он соседствует с комплексом Электры, который поселился во мне еще в детском доме, как у Дарвин, бессознательно завышая мнение о себе...

А тогда на корте грубо ответить Дарвин не смогла. И не потому, что трусила. Просто я прощала ей все, даже больше. И любила ее, как может любить только собака, преданно и верно, хотя нечто, совсем не собачье, мешало полному счастью...

Это Дарвин прислала в универ заявку на меня от Тихонова института, пусть и на должность лаборантки, чем немало рассмешила деканат. Я держала ее за божество и старалась подражать во всем, хоть люто ненавидела порой. Она заметила подражание и сказала однажды:

— Нельзя научиться от другого, как жить. Только прожив собственную жизнь, можно научиться чему-то. Или рассчитываешь на эффект Золушки? Колись, Никифорофф...

— Нам удалось структурировать воду, которая не замерзает и не образует кристаллов льда при охлаждении ниже нуля. — Наслаждаясь эффектом, Дарвин поглядывает в зал, давая возможность разнервничавшейся публике поучаствовать в торжествах. Однако публика не спешит, и Дарвин продолжает утюжить ученых: — Научные факты являются социальными конструкциями. Отказавшись от криопротекторов, мы пошли другим путем, как говорил хорошо известный миру Ленин.

— Не думаю, что в молекулярной биологии следует руководствоваться заветами покойного вождя урюпинской революции, — подает голос модератор. — Lord forbid![1]

— Если бы следовали, жили в другой стране: благополучной, богатой и счастливой своими гражданами. А вода с перестроенной структурой... мы назвали ее другой водой, обладает рядом уникальных свойств, — наседает Дарвин, — что позволяет использовать ее в качестве идеального криопротектора при длительном хранении органов перед трансплантацией. Ее можно будет использовать как средство для создания банков органов. Для замораживания и хранения при температуре жидкого азота целостных организмов с неизлечимыми болезнями в надежде на успехи медицины будущего. Она умело держит паузу, а потом снова начинает поливать: — Сиюминутные лечебные эффекты такой воды при моделировании некоторых патологических состояний представлены в таблице за моей спиной. Данные взяты не с потолка моего кабинета. — Публика в зале, конечно, знает, что с потолка. — Однако они меркнут в сравнении с потенциалом «другой» воды, — продолжает Дарвин, — которую можно будет использовать в качестве идеального энергетического материала и носителя информации.

Раздаются жидкие аплодисменты, будто Дарвин удачно посадила самолет, перелетев через океан. Только ушлая публика знает: воду с температурой ниже нуля без добавок не получить, как ни старайся. Против законов природы не попрешь, даже если выбросить миллионы на ветер. И продолжает выкрикивать ироничное и злое что-то про дельцов от науки, про нечистых на руки ученых, fuckin guryupinsk scientists и прочую хренотень. И кажется, происходит это не в Майами, куда на большой криобиологический сходняк съехалась ученая публика со всего света, а в козельске на съезде молодых ученых-гельминтологов.

Только Дарвин, как Пушкин, досадовала, когда иностранцы разделяли с ней чувство презрения к нашей власти. — Вам не нравятся урюпинские

---

[1] Не приведи Господи!

ученые? — досадует она, пробиваясь сквозь густое «у-у-у» зала. — Но ведь это они изобрели периодическую таблицу элементов, паровой двигатель, радио, паровоз, телевизор, вертолет... Патентовать не умели.

Мне показалось, она забралась на трибуну, чтобы защищать честь страны, а не делать научный доклад.

Модератору-итальяшке тоже показалось.

— Доктор Дарвин! — подает он голос. — Фольклор многих стран, особенно вашей, замечательно описывает свойства и возможности «живой» воды. Надеюсь, вы знакомы с подобной литературой. Тогда вам должно быть известно, что заявления о наличии памяти у воды, об успешном ее структурировании, исключающем замерзание при низких температурах, современная наука считает шарлатанством. — Итальянец с лицом deep-rootedladies' man[1] несколько лет безуспешно охмурял Дарвин на всех симпозиумах. И даже приезжал за этим к нам в урюпинск.

— Если бы наука не закрывала глаза на события, которые не укладываются в общепризнанные представления и теории, будто боится чего-то... — отбивается Дарвин, но ее почти не слышно из-за шума.

Я смотрю на Дарвин, впервые терпящую бедствие. Ученая публика завелась, особенно женщины, не простившие ей ни красоты, ни породы, ни одежд и ума. И перекрикивая друг друга, продолжают обличать во лжи и других грехах, поминая Кремль, верховного правителя и его безумства. И ведут себя так, будто XV век на дворе. И толпятся с вязанками хвороста в руках, чтобы подбросить в костер, разведенный под Дарвин. Я понимаю их. В последнее время отношение к нам во всем мире поменялось. Ежу понятно, в какую сторону. Мне жаль своего ежа, который несет на себе тяготы этого понимания. Жаль наше народонаселение. Но еще больше жаль Дарвин.

Только выкриками из зала ее не пронять. «Не требуй постоянно справедливости по отношению к себе, — втолковывал ей Тихон. — Сильный человек должен принять то, что ему досталось и сохранить достоинство, и лицо». Дарвин была прилежной ученицей и давно должна была стать директором института вместо Тихона, невротика и задрота в науке. И доклад этот она должна была делать сама. И не только потому, что первый автор и «живая» вода — ее заслуга. Хотя иногда мне кажется, что моя...

Тихон вообще был с самого начала против публикации данных о «другой» воде в Майами. А когда понял, что Дарвин все равно выступит с докладом, настойчиво и грубо вытребовал это право для себя и сделал все, чтобы провалить сенсационное сообщение. И неважно, что он самый богатый и могучий человек в урюпинске с маленькой буквы, хоть городок наш, как и страна, зовется и пишется по-другому. И со всеми потрохами, и институтом в придачу, принадлежит Тихону. Академику Тихону Трофимовичу Перевозчикову, мэру урюпинска. ТиТиПи, как называет его за глаза институтский народец.

Дарвин все-таки остановила доклад. Публика успокоилась, расселась по местам. Итальяшка пригласил следующего докладчика, недоуменно поглядывая на Дарвин у трибуны. А она шагнула вперед и, порывшись в одеждах, извлекла на свет цилиндр, похожий на тюбик зубной пасты. Свинтила крышку. Наклонила, и из горлышка медленно выбралась... Я обомлела: это была «другая» вода. Только как она посмела?! Как вывезла Изделие из института без разрешения службы безопасности? Как безрассудно тратит ее сейчас, проливая?

Вода зависла над ладонью колеблющимся облачком размером с небольшое куриное яйцо, преломив, подобно бриллианту, световые лучи. Конференц-зал пятизвездочной американской гостиницы наполнился радугой, яркой и сочной, из конца в конец, как в степи под урюпинском после грозы. Запахло ковылем, пылью, прибитой дождем. Дарвин сжала облачко в ладони. Подержала. Разжала ладонь, на которой теперь лежал, чуть подрагивая, кусок студня, похожего на гранату-лимонку из агар-агара, и чуть пари́л. А потом случилось невероятное, сопровождавшее всякий раз появление «другой» воды. В кусочке студня возникла невиданная мощь, и масштаб, и сила. Казалось, в капле сконцентрировался гигантский объем воды, несопоставимый с привычными земными размерами, который прямо сейчас легко и просто, будто кружку пива, заполнит конференц-зал и город и двинется дальше.

Дарвин двинула рукой. Радуга исчезла. Неформально структурированный студень потянулся за рукой, как океан в «Солярисе» Лема. Она не стала продолжать манипуляции:

— Я могу вытянуть эту воду в нить и намотать на палец.

Зал растерянно молчал. Лишь щелкали фотокамеры в телефонах.

Дарвин погрузила каплю в тюбик. Мне показалось, вода скользнула в упаковку с удовольствием. И прежде чем спуститься в зал, сказала:

— Однажды Бернард Шоу написал: «Многие великие истины сначала были кощунством». Давайте договоримся: точка замерзания воды — это всего лишь цифра, которую можно менять, как, впрочем, и удельный вес.

И шла по проходу на свое место в задних рядах с непроницаемым лицом — with a poker face. И посвечивала потрясающим, совсем не научным телом в отраженном свете Тихоновых миллионов, происхождение

[1] Закоренелого бабника.

которых в маленьком урюпинске оставалось загадкой не только для меня. А зал по-прежнему молчал, будто вымер. А потом взорвался аплодисментами, свистом и криками. Публика рванула к Дарвин. Окружила, приветливо помахивая перьями. Принялась обнимать, радостно похлопывать по плечам. Старалась оторвать куски ткани от модных лохмотьев. Пыталась тащить к трибуне. От злобного негодования не осталось следа. Ученый народ поверил в сообщение Дарвин и легко представил, чем грозит миру этот крутяк. И надеждам, и восторгам публики, превратившейся в обычную уличную толпу, не было конца.

Словно с неба попадали журналисты, телеоператоры. Оттеснили публику. Совали в лицо микрофоны, теле- и фотокамеры. Просили еще раз пролить «другую» воду, намотать на палец. И, задавая вопросы, приговаривали что-то про новую эру в энергетике, что круто поменяет жизнь на земле, и не только на земле; про замораживание органов, которое на фоне холодного термоядерного синтеза уже не казалось первостепенной задачей...

«Еще один звездный час Дарвин, что случается с ней по нескольку раз в году», — думала я, глядя на свою начальницу, прилежно сидевшую в кресле под прицелом телекамер с лицом Приснодевы, блаженной и счастливой девственницы-недотроги без штанишек под одеждами — happiness don't puton pants[1].

Подошел модератор-итальяшка, криобиолог с мировым именем, похожий на Марчелло Мастроянни. Улыбчивый, добрый и такой же красивый. Постоял, наблюдая издали, как колбасит публика и журналисты подле Дарвин, и стал пробиваться к ней. Я двинулась следом. Поотстала и не услышала, что впаривал ей Марчелло. Но, видно, в этот раз ему повезло: размякшая от триумфа Дарвин согласилась поужинать с ним.

— Поедешь с нами, Никифорофф, — сказала она.

Выбралась из толпы. И двинулась к ТиТиПи, окруженному журналистами. Она что-то говорила ему, поглаживая лацканы пиджака, и нежно заглядывала в глаза. Тихон сердито качал головой, а потом заорал:

— Что ты себе позволяешь, Дора?! Это международный симпозиум, а не посиделки оппозиционеров, ругающих власть и пользующихся ее благами. — Увидел меня и заорал еще громче: — А ты убирайся с глаз моих, сука! Не могу шагу ступить, чтобы не наступить на тебя!

Только рассудочное поведение — не для Дарвин. Через несколько минут длинная черная тачка везла нас на окраину Майами. Возле входа в приземистое одноэтажное здание с колоннами я прочла название кабака на здоровенной вывеске, поставленной вертикально: "The Joe's Stone Crab"[2].

— Культовый ресторан со столетней историей, известный на всю Америку, — поведал Марчелло, прежде чем мы вышли из машины и снова попали в лапы телевизионщиков. — Славится свежими каменными крабами...

Маленький толстый незнакомец with the bald spot[3], в светлых джинсах и портретом Буша-младшего на черной майке, встал из-за стола. Представился:

— Бенджамин Франклин. Можно просто Бен.

Я подумала: шутит чувак. В компании Дарвин и Мастроянни нам не хватало только Бенджамина Франклина, чей портрет уже больше ста лет красуется на самой любимой бумажке человечества — стодолларовой купюре.

— Мистер Франклин — биофизик по образованию, известный в Штатах финансист, меценат и, как его далекий предок, давний друг вашей страны, — донесся до меня голос Марчелло.

Предок действительно был гениален и изобрел не только американскую демократию, кресло-качалку, но и сформулировал идею электродвигателя. Успел, единственный из отцов-основателей, подписать все три исторических документа, что легли в основу создания Соединенных Штатов: Декларацию Независимости, Конституцию и Версальский мирный договор.

Нам подали в деревянных корытцах еду, похожую на люля-кебаб, присыпанный сыром и завернутый в тонкие лепешки. И еще что-то в серебряных мисочках.

— Это пуэрториканский севиче, — сказал Марчелло. — Лучший образчик холодной закуски: морепродукты в лимонном соке.

Он был в ударе. Смотрел на Дарвин влюбленными глазами. Шутил, вспоминая свои поездки в нашу страну. Говорил комплименты, что-то про криобиологию, предлагал перебраться на жительство в Турин, на север Италии, где у него исследовательский центр. Казалось, рядом сидит настоящий Мастроянни, которого так хотелось потрогать.

С кебабами мы с Дарвин справились, а лучший образчик выжег язык и слизистую рта, будто серной кислотой, настоянной на чилийском перце. И белое калифорнийское вино не выручало.

Официант подкатил тележку с новой посудой. Будто фокусник, раскидал по столу столовое серебро, такие же тарелки и кучу щипцов, кусачек, ножниц и прочего медицинского инвентаря. Через головы надел на нас полиэтиленовые накидки. Я почувствовала себя в институтской операционной. Официант не стал возражать. Расставил бокалы для вина, стаканы для

---

[1] Счастливые трусов не надевают.

[2] Каменные крабы Джо.

[3] С лысиной.

виски и воды, ведерко со льдом и отправился за выпивкой. Вернулся. Мы выпили. Официант налил еще.

Встал Бен, сверкнув бритым черепом, и не к месту заявил:

— Хочу пожелать вам, дамы, хорошей страны. Ваша не тянет пока.

Мы не стали спорить, хоть я думала, что страна у нас, пусть с диктаторскими замашками, но вполне сносная, и снова выпили. Пока пили, официант притащил тележку с огромными черно-красными крабами, лежащими горой на блюде. После короткой дискуссии о биологических особенностях каменных крабов мы принялись за дело.

За едой почти не разговаривали из-за трудностей с разделкой каменных чудовищ. Зато, принявшись за фрукты, публика заговорила. Я была уверена: главной темой станет «другая» вода. Оказалось, вода — под запретом. Американец, похохатывая на весь зал, пересказывал жизнь знаменитого предка, сдабривая ее анекдотами. Я не все понимала. Даже еще меньше, особенно в анекдотах. К тому же американец пропускал согласные в словах, и пойди догадайся, про что он толкует. Поняла, однако, что Бенджамин Франклин был первым американцем, ставшим иностранным членом нашей академии наук. И что в пику всем своим достоинствам слыл самым знаменитым сифилитиком и алкоголиком в Штатах. Это знание сильно приукрасило портрет чопорного джентльмена на купюре.

А Бен, покончив с предком и продолжая похохатывать, нараспев, на одних гласных, предложил Дарвин перебраться в Штаты и поработать в институте криобиологии, известном на весь мир своими нобелевскими лауреатами.

— Это вопрос приоритетов, — сказала Дарвин, чтобы ничего не сказать. Даже не поблагодарила. И попросила налить виски: — Нет, без льда. На два пальца. Моих!

Я знала, чем это кончится. Она попросит еще, потом еще. Потом кубинскую сигару, что потрясающе пахнет, пока в пеналчике. А потом... я не хотела думать дальше...

Однако Дарвин не теряла головы, несмотря на выпитый бурбон, который пока мирно уживался в ее желудке с калифорнийским вином. Она была по-прежнему чудо как хороша, собранна и демонстративно недоступна.

Возможно, от выпитого и всего происходящего у меня помутился рассудок, и «крыша» поехала так заметно, что на короткое время я выпала из реальности. А когда вернулась, увидела, как Дарвин, сняв под столом туфлю, шевелит пальцами босой ноги в Марчелловом паху. Я знала, что она лишена дешевого дамского кокетства и сама решает, с кем и когда заняться любовью и как. Секс для нее был не важнее игры в теннис по субботам или яичницы с жареной ветчиной по утрам. Но чтобы прилюдно, чтобы в известном на весь мир кабаке пальцами голой стопы тормошить мужские гениталии?! Nobody is perfect[1]. Я покраснела от чужого бесстыдства не хуже сваренных крабов. Голова закружилась.

А Дарвин сидела с прямой спиной и в паузах, любезно предоставляемых Беном, пересказывала байки из провинциальной жизни нашей страны. Хотя вся наша страна — провинция. Лишь румянец выдавал присутствие больших доз алкоголя в крови. Только я знала: еще немного — и Дарвин перейдет черту, за которой поведет себя непредсказуемо. И непредсказуемость эта может продлиться несколько дней, которые в урюпинске она обычно проводит в обществе санитара Евсея — служителя институтского морга, похожего бородой и ярко-синими глазами на Саваофа. И никакая сила не может заставить ее покинуть владения Евсея до срока, известного только ей, а может, и ему.

Для Дарвин жизнь была чередой ритуалов, нерушимость которых держалась на необязательности их соблюдения. Поэтому всякий ритуал — лишь игра в порядок, который не выносит ее вольнолюбивая душа и тело тоже. Для нее большинство ритуалов лишено смысла. Лишь у некоторых сохранились значения. Это знание дает ей свободу, которой мне так недостает.

— Может быть, травку? — поинтересовался Бен, глядя на меня. — Кто вы, прекрасное дитя?

— Я тут случайно. Шла мимо. Решила зайти...

— Здорово! — Бен совсем не удивился. — Забьем косяк?

— Конечно! — оживилась я, забыв про Дарвин и контейнер с «другой» водой.

Но Дарвин, бравшая на себя все ответственные решения, тоже не стала артачиться.

Прямо за столом с крабами мы забили косяк, пустив сигарету по кругу. «Все стало вокруг голубым и зеленым». Я почти догнала свою начальницу и простила сомнительный флирт с Марчелло.

— Мы могли бы поужинать вдвоем, — стал кадрить меня Бен, quitesoft-core. — Согласны?

Конечно, я была согласна.

А Дарвин вдруг встала:

— Простите, джентльмены. Оставлю вас на пару минут. — И, забыв про туфлю, двинулась в туалет. «Началось», — с ужасом подумала я, поднимаясь следом.

Дарвин заняла одну из кабинок. Я не знала, какую. Расположилась в свободной и успокаивала себя: «Слава богу, здесь нет Евсея». Однако отсутствие

---

[1] Никто не совершенен.

Евсея еще не гарантировало благополучного завершения ужина. Я сидела на стерильном унитазе, вслушиваясь в шорохи дамского сортира, и не слышала ничего предосудительного. И, мучаясь догадками, старалась представить, что делает Дарвин в своей кабинке в полной тишине: звонит Евсею, Тихону, мастурбирует, прячет контейнер с «живой» водой?

— Дора? — услышала я за дверью голос Марчелло.

Рядом щелкнул замок. Открылась дверь. Мне захотелось провалиться сквозь землю, лишь бы не слышать. Подумала: «Хорошо, что сижу».

Теперь я слышала все, а представляла еще лучше. И возмущенно, и злобно, а может, завистливо, осуждала Дарвин за пьянство в чужой стране, за постыдное распутство в сортире, за блистательный доклад, за отсутствие добродетели. И чувствовала, как возбуждаюсь сама. И так сильно, что большой клитор требовал немедленной ласки. И уже была готова согласиться...

Я знала, что случится плохое. И случилось. С шумом распахнулась входная дверь. С криками ввалилась куча полицейских и стала дергать ручки кабинок. Когда добрались до меня, я была почти без сознания от страха и стыда.

— Простите, мэм, — сказал один из копов, их было двое всего, и принялся дергать остальные дверцы.

Мне показалось, они знают, что ищут. И нашли. И вежливо, даже стыдясь, попросили Дарвин с Марчелло выйти из кабинки. Сказали что-то про права и потребовали проследовать за ними в участок.

В голову лезло: мочить в сортире. Я почувствовала, что заболеваю. Что стремительно растет температура. И в странном горячечном бреду видела, как разъяренная полураздетая Дарвин, привыкшая, что все дозволено, выбирается из кабинки и кричит копам: — For fuck's sake![1] — И что-то еще, и периодически апеллирует к Марчелло. А тот приводит себя в порядок и не спешит поучаствовать в дискуссии.

Хоть болезнь моя прогрессировала, я твердо помнила из фильмов и книг, что за это не тащат в участок. Что в туалет дорогущего майамского ресторана дорога полицейским без особой нужды заказана, что...

Появился Бен. Невозмутимый и законопослушный, он вступил в переговоры с копами, но ничего не добился. Дарвин увезли, и Марчелло тоже. Мы остались в туалете вдвоем. Смотрели на пустую кабинку, где только что так опрометчиво предавалась любовным забавам Дарвин, и молчали.

Мне показалось, Бен коснулся ладонью спины и подтолкнул вперед. Я почувствовала себя доступной, как никогда. Не стала привередничать и шагнула в кабину с туфлей Дарвин в руке. Оглянулась: американец стоял на цыпочках и, грозя разрушить писсуар струей, говорил что-то, прижимая плечом телефон к уху...

Когда мы добрались до участка, Бенов юрист уже поджидал нас. Я опять отключилась, перестав контролировать вновь задвигавшуюся «крышу». Лишь видела звезды сквозь прорехи в ней. И потолок американской ментовки, и яркие лампы на потолке не служили помехой.

Я пришла в себя, когда в прохладном коридоре с запахом океана появились Дарвин с Марчелло. Не сломленная полицейским участком, независимая и бесстрашная недотрога, почти девственница и пуританка, Дарвин гордо смотрела на меня:

— Привет, Серая Шейка! Чтобы проталинка не замерзла, надо постоянно шевелить лапками. Не забыла? — Будто меня пришла вызволять.

И хотя в Америке мат не находится под запретом, я не могла вести с ней дискуссию на равных. Лишь подумала: "Screw you!"

Вместо меня заговорил коротышка Бен, поглядывая на перепуганного итальянца:

— Произошло недоразумение, коллеги. Конфликт улажен. Предлагаю отпраздновать ваше освобождение. Сделаем это на яхте, пока не очень темно. Выпьем, потанцуем...

Марчелло пытался отказаться, сославшись на свой завтрашний доклад. Но Бена меньше всего интересовали проблемы итальянца.

— The problem of the world is that "I don't give a fuck" kinda guy clearly expresses his thoughts than a laid-back person[2], — сказал Бен.

И я с трудом поняла, что он имел в виду. Только почему адресовал этот текст Марчелло, для меня осталось загадкой, как, впрочем, многое из того, что случилось в этот безумный день. К сожалению, память оперирует картинками и собирает вместе лишь то, что сочетается, а не то, что было на самом деле. Поэтому так трудно отделить подлинные события от воображаемых.

— Сносная яхта, — заметила я, оглядывая огромную посудину со знанием дела, будто урюпинск — столица семи морей.

— Да уж, «крышу» сносит, — поддержала Дарвин. — Знаешь, чего они хотят?

— От вас?

— От тебя тоже.

Я не стала спрашивать, потому как ответ был один: им нужен контейнер с «другой» водой. Все остальное призвано завуалировать отъем упаковки. И желательно, чтобы отдача была добровольной.

---

[1] Какого хрена.

[2] Одна из мировых проблем состоит в том, что законченные мудаки выражают свои мысли куда лучше простых придурков (жаргон).

Яхта отошла от берега на несколько миль. Капитан в белой форменной одежде, но все равно вылитый вечный доцент с биофака нашего универа в Северной столице — их там было три таких чувака, до боли похожих друг на друга, и не только лицами, — спустил паруса, положил яхту в дрейф и принялся сервировать стол, привинченный к палубе. Сыр, барбекю, белое вино, фрукты. The great spread was continuing[1]. Мы ели медленно. И медленно пили, словно оттягивали грядущие беды. И молчали: после всего случившегося нам нечего было сказать друг другу. А у меня в голове рефреном ходил по кругу дурной вопрос: зачем мы согласились на эту поездку? Будто кто-то спрашивал у меня согласие.

— Что это было? — первой заговорила Дарвин, ни к кому не обращаясь.

Публика перестала жевать. И яхта дрейфовать перестала.

— Вы попали в полицейскую облаву, — миролюбиво заметил Бенов юрист.

Высокий и жилистый, в морщинах даже на носу, он, казалось, рекламировал собой успешные операции аортокоронарного шунтирования у пожилых. И чтобы усилить впечатление, помогал капитану в маневрах с парусами.

— Зашибись! — огрызнулась Дарвин. — Я себя впервые почувствовала уличной девкой.

«Так оно и есть, — злорадно подумала я. — Наши ученые не трахаются в чужеземных сортирах». Но Бен уже спешил на помощь:

— Don't stream your beam, Dora. You are a real lady[2].

— I don't care[3], — сказала Дора.

Однако мы обе воспрянули духом. Марчелло тоже зашевелился. Нежно посмотрел на Дарвин. Поцеловал босую стопу с длинными тонкими, как у школьницы, пальцами...

Традиционное и инстинктивное для наших людей чувство незащищенности в столкновении с более могущественным и компетентным Западом исчезло. Улетучилось, растворилось и забрало с собой подозрительность, страх, ощущение близкой беды и напряженность. И уже не требовало от нас, в порядке компенсации, морального превосходства над иностранцами.

«Господи! — думала я, пребывая в экзальтации и оглядывая пространство. — Как прекрасен этот мир. Как безмятежен. Как разумно устроен. Как добры и не заносчивы американцы. Как хорош влюбленный Марчелло». И искренне благодарила Дарвин за поход в крабовый кабак, за место в ее лаборатории в Тихоновом институте, за эту безумно красивую яхту, за симпозиум в Штатах, за...

Подумала о «другой» воде, которая для меня была чем-то вроде волшебного увеличительного стекла, придающего планетарный масштаб рядовым событиям, оставляющим на них не только загадочный отблеск вечности, но и место для игры воображения. Отсюда рай на небесах казался шведской деревушкой: сытой и комфортной, приятной во всех отношениях. А воображение рисовало картины будущей счастливой жизни, обязанной присутствию «другой» воды. И власть в урюпинске и любезном отечестве поменяется, потому что нефть и газ перестанут приносить доходы, добывай не добывай, и служить символом денег. Даже тех, что с портретом Бенова предка. Их заменит «другая» вода. И Тихон перестанет корчить из себя императора и гнобить челядь, и бандиты уберутся из мэрии. И, как о чем-то неважном и совсем далеком, промелькнула и угасла мысль: «Почему они не просят показать Изделие?»

Мы снова принялись за сыр и вино. А потом капитан принес из каюты пару бутылок виски The Balvenie и ведерко со льдом. Я опасливо посмотрела на бутылки, на Дарвин, увлеченную Марчелло...

— Коллекционный шотландский виски, — сообщил Бен. — Хранится в бочках из-под хереса не менее тридцати лет. — Налил в тяжелый стакан. Пододвинул мне. — Хлебните!

Пахло медом и фруктами, особенно грушей...

Тридцатилетняя выдержка давала о себе знать: виски проникал в желудок легко и беззаботно, будто компот в детском доме, где я выросла. И также беспечно накапливался в крови, не туманя голову. Лишь усиливалась эйфория, непривычно праздничная и незатейливая, как в первый день Нового года.

— Потанцуем! — предложил Бен.

Я хотела спросить: «Что?», но не успела. Он исчез в рубке, подвигал компьютерной мышкой, и знаменитая Chattanooga Choo Choo в исполнении Рэя Конниффа загремела над океаном:

Pardon me, boy. Is that the Chattanooga choo choo?
Yes, yes. Track twenty-nine, boy, you can gimme a shine.

Бен начал ворочать телом. Протянул руку:

— Comeon, baby!

Я никогда не танцевала буги...

г. Рига

---

[1] Вечеринка продолжается.

[2] Не парьтесь.

[3] Мне плевать.